

Артур Конан Дойль

Женитьба бригадира

Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди тридцати офицеров Конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узнай они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, — я покажу его вам, вы ведь знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны.

Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды. Ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато, случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрыгу, а заодно и обзавелся женушкой.

В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского городка Лез Андели. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания, а все же стоит мне произнести «Лез Андели», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол! Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете, да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свиданий было не счесть. О молодость, красота, доблесть, как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет! Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа. А вино — что? Оно приносит лишь телесную радость. Но уж коли угощают... не откажусь.

Прелестней всех девушек в тех краях была Мари Равон. До чего мила да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов, прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной: щеки смуглые, как лепестки мускатной розы; взгляд карих глаз нежен и в то же время смел; волосы, черные как смоль, будят волнение в крови и в стихии просятся; а фигурка — точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее, — горяча была и горда, всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа, отчего капитуляция бывала сладостней во сто крат. Из ста сорока женщин... Но как их сравнить, если все были по-своему совершенства!

Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои, ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов два воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступить. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов.

А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Мари? О, друзья мои, женитьба не для гусара! Сегодня он в Нормандии, а завтра — среди холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность, а она будет со страхом ждать очередную почту — вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это, разумно ли? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед, и добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивачного костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала: затрубят серебряные горны — и прощай семейная жизнь! Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест — здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Ле Гайяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пусть снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали: день да ночь — сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения, хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар — человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать.

Однажды в воскресенье я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо

было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы.

— Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучше дорогой.

— Эдак я дам круг с милу, а то и больше.

— Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней, — ухмыляясь, сказал он.

— Почему? — спросил я.

— Потому что в поле пасется бык английской породы.

Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверно, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться... этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы.

— Пойду напрямик, — сказал я.

Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства, приличествующего солдату, но тем не менее развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность. Зато нижняя — проворство и настороженность.

Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Прибодрившись, я взглянул на открытое окно спальни Мари, которое было как раз над черным ходом, — вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы, — пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой — свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство, я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести.

Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой! Да караул ее дом хоть все быки Кастилии, разве я остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез! Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств.

— И сердце ваше ни разу не дрогнуло? Вы никогда не знали страха? — спрашивала она.

Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хоть я был еще очень молод, подвигам моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мари содрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть, но когда тебе двадцать и ты влюблен, как не приукрасить рассказ. О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире.

— Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного!

Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете... я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит.

Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл

в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее.

— Одно из двух, — сказали они с крестьянской прямоотой, — или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите.

Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылаясь на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Мари, а с другой к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра.

— Я поговорю с Мари, — сказал я. — Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня — ее счастье.

Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов.

Я шагал по полю, задумавшись, — из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как мне быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижусь с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орало, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить все: быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка.

Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный. Голова опущена, свирепые, налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону.

Я оглянулся и, к своему отчаянию, увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами. И даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой, подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверно, благоразумней было бы сдержать свой пыл. Бык считал это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку.

Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это — чудовищное зрелище. Вы думаете, наверно, что он припустил рысью или даже галопом. Это бы еще ничего... Нет, он делал прыжки, один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядины — это совсем другое дело. Тут не поспоришь, не успокоишь, не завоюешь расположения... Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно — бежать.

Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто — в панике. Я удираю, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался... это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка.

Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело: если удираешь, то паники не

избежать, будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть... никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фыркание за моей спиной становилось все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа: бык и я — он хотел убить меня, а я — во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и... дунул во все лопатки.

Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил: если даже я добегу, спрятаться будет негде. Дверь заперта. Нижние окна забраны решетками. Ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар и показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им.

Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно — сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни.

Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по покрасневшим щекам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом.

— Этьен! — прошептала она, задыхаясь. — Этьен!

И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступать истинный джентльмен.

— Мари, — вскричал я, — простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями. И я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете.

Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова. А затем стала восторженно изливать свои чувства.

— О Этьен! Мой замечательный Этьен! — восклицала она, обвив мою шею руками. — Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите предо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия! За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня.

Объяснять больше было нечего, и когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум — кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра, а теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку.

— Вы видите перед собой вашего сына! — сказал я.

О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы. Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.

Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.

— Вы пойдете парадным ходом или черным? — спросил он. — Черным ходом короче.

— Пожалуй, пойду парадным, — ответил я. — Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари.